Соборяне

Автор:
Николай Лесков

Соборяне

Николай Семёнович Лесков

Николай Семенович Лесков – один из лучших мастеров русской прозы, «самый русский из русских писателей», «прозёванный русский гений», по определению И.Северянина.

В его произведениях создан удивительный, сияющий слезами восторга и доброй улыбкой иконостас российских подвижников и праведников.

Данный роман живописует быт и бытие церковных людей, горе и радости русского духовенства – отчасти идеализированно, отчасти с лукавством и насмешкой.

Николай Лесков

Соборяне

Хроника

Часть первая

Глава первая

Люди, житье-бытье которых составит предмет этого рассказа, суть жители старгородской соборной поповки. Это – протоиерей Савелий Туберозов, священник Захария Бенефактов и дьякон Ахилла Десницын. Годы ранней молодости этих людей, так же как и пора их детства, нас не касаются. А чтобы видеть перед собою эти лица в той поре, в которой читателю приходится представлять их своему воображению, он должен рисовать себе главу старогородского духовенства, протоиерея Савелия Туберозова, мужем уже пережившим за шестой десяток жизни. Отец Туберозов высок ростом и тучен, но еще очень бодр и подвижен. В таком же состоянии и душевные его силы: при первом на него взгляде видно, что он сохранил весь пыл сердца и всю энергию молодости. Голова его отлично красива: ее даже позволительно считать образцом мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, как грива матерого льва, и белы, как кудри Фидиева Зевса. Они художественно поднимаются могучим чубом над его высоким лбом и тремя крупными волнами падают назад, не достигая плеч. В длинной раздвоенной бороде отца протопопа и в его небольших усах, соединяющихся с бородой у углов рта, мелькает еще несколько черных волос, придающих ей вид серебра, отделанного чернью. Брови же отца протопопа совсем черны и круто заломанными латинскими S-ами сдвигаются у основания его довольно большого и довольно толстого носа. Глаза у него коричневые, большие, смелые и ясные. Они всю жизнь свою не теряли способности освещаться присутствием разума; в них же близкие люди видали и блеск радостного восторга, и туманы скорби, и слезы умиления; в них же сверкал порою и огонь негодования, и они бросали искры гнева – гнева не суетного, не сварливого, не мелкого, а гнева большого человека. В эти глаза глядела прямая и честная душа протопопа Савелия, которую он, в своем христианском уповании, верил быти бессмертною.

Захария Бенефактов, второй иерей Старгородского собора, совсем в другом роде. Вся его личность есть воплощенная кротость и смирение. Соответственно тому, сколь мало желает заявлять себя кроткий дух его, столь же мало занимает места и его крошечное тело и как бы старается не отяготить собою землю. Он мал, худ, тщедушен и лыс. Две маленькие букольки серо-желтеньких волосинок у него развеваются только над ушами. Косы у него нет никакой. Последние остатки ее исчезли уже давно, да и то была коса столь мизерная, что дьякон Ахилла иначе ее не называл, как мышиный хвостик. Вместо бороды у отца

Захарии точно приклеен кусочек губочки. Ручки у него детские, и он их постоянно скрывает и прячет в кармашки своего подрясника. Ножки у него слабые, тоненькие, что называется соломенные, и сам он весь точно сплетен из соломки. Добрейшие серенькие глазки его смотрят быстро, но поднимаются вверх очень редко и сейчас же ищут места, куда бы им спрятаться от нескромного взора. По летам отец Захария немножко старше отца Туберозова и значительно немощнее его, но и он, так же как и протопоп, привык держаться бодро и при всех посещающих его недугах и немощах сохранил и живую душу и телесную подвижность.

Третий и последний представитель старогородского соборного духовенства, дьякон Ахилла, имел несколько определений, которые будет нелишним здесь привести все, дабы при помощи их могучий Ахилла сколько-нибудь удобнее нарисовался читателю.

Инспектор духовного училища, исключивший Ахиллу Десницына из синтаксического класса за «великовозрастие и малоуспешие», говорил ему:

– Эка ты, дубина какая, протяженно сложенная!

Ректор, по особым ходатайствам вновь принявший Ахиллу в класс риторики, удивлялся, глядя на этого слагавшегося богатыря и, изумляясь его величине, силе и бестолковости, говорил:

– Недостаточно, думаю, будет тебя и дубиной называть, поелику в моих глазах ты по малости целый воз дров.

Регент же архиерейского хора, в который Ахилла Десницын попал по извлечении его из риторики и зачислении на причетническую должность, звал его «непомерным».

– Бас у тебя, – говорил регент, – хороший, точно пушка стреляет; но непомерен ты до страсти, так что чрез эту непомерность я даже не знаю, как с тобой по достоинству обходиться.

Четвертое же и самое веское из характерных определений дьякону Ахилле было сделано самим архиереем, и притом в весьма памятный для Ахиллы день, именно в день изгнания его, Ахиллы, из архиерейского хора и посылки на

дьяконство в Старый Город. По этому определению дьякон Ахилла назывался «уязвленным». Здесь будет уместно рассказать, по какому случаю стало ему приличествовать сие последнее название «уязвленного».

Дьякон Ахилла от самых лет юности своей был человек весьма веселый, смешливый и притом безмерно увлекающийся. И мало того, что он не знал меры своим увлечениям в юности: мы увидим, знал ли он им меру и к годам своей приближающейся старости.

Несмотря на всю «непомерность» баса Ахиллы, им все-таки очень дорожили в архиерейском хоре, где он хватал и самого залетного верха и забирал под самую низкую октаву. Одно, чем страшен был регенту непомерный Ахилла, это – «увлекательностью». Так он, например, во всенощной никак не мог удержаться, чтобы только трижды пропеть «Свят Господь Бог наш», а нередко вырывался в увлечении и пел это один-одинешенек четырежды, и особенно никогда не мог вовремя окончить пения многолетий. Но во всех этих случаях, которые уже были известны и которые потому можно было предвидеть, против «увлекательности» Ахиллы благоразумно принимались меры предосторожности, избавлявшие от всяких напастей и самого дьякона и его вокальное начальство: поручалось кому-нибудь из взрослых певчих дергать Ахиллу за полы или осаживать его в благопотребную минуту вниз за плечи. Но недаром сложена пословица, что на всякий час не обережешься. Как ни тщательно и любовно берегли Ахиллу от его увлечений, все-таки его не могли совсем уберечь от них, и он самым разительным образом оправдал на себе то теоретическое положение, что «тому нет спасения, кто в самом себе носит врага». В один большой из двунадесятых праздников Ахилла, исполняя причастный концерт, должен был делать весьма хитрое басовое соло на словах: «и скорбьми уязвлен». Значение, которое этому соло придавал регент и весь хор, внушало Ахилле много забот: он был неспокоен и тщательно обдумывал, как бы ему не ударить себя лицом в грязь и отличиться перед любившим пение преосвященным и перед всею губернскою аристократией, которая соберется в церковь. И зато справедливость требует сказать, что Ахилла изучил это соло великолепно. Дни и ночи он расхаживал то по своей комнате, то по коридору или по двору, то по архиерейскому саду или по загородному выгону, и все распевал на разные тоны: «уязвлен, уязвлен, уязвлен», и в таких беспрестанных упражнениях дождался наконец, что настал и самый день его славы, когда он должен был пропеть свое «уязвлен» пред всем собором. Начался концерт. Боже, как велик и светло сияющ стоит с нотами в руках огромный Ахилла! Его надо было срисовать – пером нельзя его описывать… Вот уже прошли знакомые форшлаги, и подходит место басового соло. Ахилла отодвигает локтем соседа, выбивает себе в молчании такт своего

соло «уязвлен» и, дождавшись своего темпа, видит поднимающуюся с камертоном регентскую руку… Ахилла позабыл весь мир и себя самого и удивительнейшим образом, как труба архангельская, то быстро, то протяжно возглашает! «И скорбьми уязвлен, уязвлен, у-й-я-з-в-л-е-н, у-й-я-з-в-л-е-н, уязвлен». Силой останавливают Ахиллу от непредусмотренных излишних повторений, и концерт кончен. Но не кончен он был в «увлекательной» голове Ахиллы, и среди тихих приветствий, приносимых владыке подходящею к его благословению аристократией, словно трубный глас с неба с клироса снова упал вдруг: «Уязвлен, уй-яз-влен, уй-я-з-в-л-е-н». Это поет ничего не понимающий в своем увлечении Ахилла; его дергают – он поет; его осаживают вниз, стараясь скрыть за спинами товарищей, – он поет: «уязвлен»; его, наконец, выводят вон из церкви, но он все-таки поет: «у-я-з-в-л-е-н».

– Что тебе такое? – спрашивают его с участием сердобольные люди.

– «Уязвлен», – воспевает, глядя всем им в глаза, Ахилла и так и остается у дверей притвора, пока струя свежего воздуха не отрезвила его экзальтацию.

В сравнении с протоиереем Туберозовым и отцом Бенефактовым Ахилла Десницын может назваться человеком молодым, но и ему уже далеко за сорок, и по смоляным черным кудрям его пробежала сильная проседь. Роста Ахилла огромного, силы страшной, в манерах угловат и резок, но при всем этом весьма приятен; тип лица имеет южный и говорит, что происходит из малороссийских казаков, от коих он и в самом деле как будто унаследовал беспечность и храбрость и многие другие казачьи добродетели.

Глава вторая

Жили все эти герои старомодного покроя на старгородской поповке, над тихою судоходною рекой Турицей. У каждого из них, как у Туберозова, так и у Захарии и даже у дьякона Ахиллы, были свои домики на самом берегу, как раз насупротив высившегося за рекой старинного пятиглавого собора с высокими куполами. Но как разнохарактерны были сами эти обыватели, так различны были и их жилища. У отца Савелия домик был очень красивый, выкрашенный светло-голубою масляною краской, с разноцветными звездочками, квадратиками и репейками, прибитыми над каждым из трех его окон. Окна эти обрамливались

еще резными, ярко же раскрашенными наличниками и зелеными ставнями, которые никогда не закрывались, потому что зимой крепкий домик не боялся холода, а отец протопоп любил свет, любил звезду, заглядывавшую ночью с неба в его комнату, любил лунный луч, полосой глазета ложившийся на его разделанный под паркет пол.

В домике у отца протопопа всякая чистота и всякий порядок, потому что ни сорить, ни пачкать, ни нарушать порядок у него некому. Он бездетен, и это составляет одну из непреходящих скорбей его и его протопопицы.

У отца Захарии Бенефактова домик гораздо больше, чем у отца Туберозова; но в бенефактовском домике нет того щегольства и кокетства, каким блещет жилище протоиерея. Пятиоконный, немного покосившийся серый дом отца Захарии похож скорее на большой птичник, и к довершению сходства его с этим заведением во все маленькие переплеты его зеленых окон постоянно толкутся различные носы и хохлики, друг друга оттирающие и друг друга преследующие. Это все потомство отца Захарии, которого бог благословил яко Иакова, а жену его умножил яко Рахиль. У отца Захарии далеко не было ни зеркальной чистоты протопопского дома, ни его строгого порядка: на всем здесь лежали следы детских запачканных лапок; изо всякого угла торчала детская головенка; и все это шевелилось детьми, все здесь и пищало и пело о детях, начиная с запечных сверчков и оканчивая матерью, убаюкивавшею свое потомство песенкой:

Дети мои, дети!

Куда мне вас дети?

Где вас положити?

Дьякон Ахилла был вдов и бездетен и не радел ни о стяжаниях, ни о домостройстве. У него на самом краю Заречья была мазаная малороссийская хата, но при этой хате не было ни служб, ни заборов, словом, ничего, кроме небольшой жердяной карды, в которой по колено в соломе бродили то пегий жеребец, то буланый мерин, то вороная кобылица. Убранство в доме Ахиллы тоже было чисто казацкое: в лучшей половине этого помещения, назначавшейся для самого хозяина, стоял деревянный диван с решетчатою спинкой; этот диванчик заменял Ахилле и кровать, и потому он был застлан белою казацкою кошмой, а в изголовье лежал чеканенный азиатский седельный орчак, к которому была прислонена маленькая блинообразная подушка в просаленной китайчатой наволочке. Пред этим казачьим ложем стоял белый липовый стол, а

на стене висели бесструнная гитара, пеньковый укрючный аркан, нагайка и две вязанные пукольками уздечки. В уголку на небольшой полочке стоял крошечный образок Успения Богородицы с водруженною за ним засохшею вербочкой и маленький киевский молитвословик. Более решительно ничего не было в жилище дьякона Ахиллы. Рядом же, в небольшой приспешной, жила у него отставная старая горничная помещичьего дома, Надежда Степановна, называемая Эсперансою.

Это была особа старенькая, маленькая, желтенькая, вострорылая, сморщенная, с характером самым неуживчивым и до того несносным, что, несмотря на свои золотые руки, она не находила себе места нигде и попала в слуги бездомовного Ахиллы, которому она могла сколько ей угодно трещать и чекотать, ибо он не замечал ни этого треска, ни чекота и самое крайнее раздражение своей старой служанки в решительные минуты прекращал только громовым: «Эсперанса, провались!» После таких слов Эсперанса обыкновенно исчезала, ибо знала, что иначе Ахилла схватит ее на руки, посадит на крышу своей хаты и оставит там, не снимая, от зари до зари. В виду этого страшного наказания Эсперанса боялась противоречить своему казаку-господину.

Все эти люди жили такою жизнью и в то же время все более или менее несли тяготы друг друга и друг другу восполняли не богатую разнообразием жизнь. Отец Савелий главенствовал над всем положением; его маленькая протопопица чтила его и не слыхала в нем души. Отец Захария также был счастлив в своем птичнике. Не жаловался ни на что и дьякон Ахилла, проводивший все дни свои в беседах и в гулянье по городу, или в выезде и в мене своих коней, или, наконец, порой в дразнении и в укрощении своей «услужающей Эсперансы».

Савелий, Захария и Ахилла были друзья, но было бы, конечно, большою несправедливостью полагать, что они не делали усилий разнообразить жизнь сценами легкой вражды и недоразумений, благодетельно будящими человеческие натуры, усыпляемые бездействием уездной жизни. Нет, бывало нечто такое и здесь, и ожидающие нас страницы туберозовского дневника откроют нам многие мелочи, которые вовсе не казались мелочами для тех, кто их чувствовал, кто с ними боролся и переносил их. Бывали и у них недоразумения. Так, например, однажды помещик и местный предводитель дворянства, Алексей Никитич Плодомасов, возвратясь из Петербурга, привез оттуда лицам любимого им соборного духовенства разные более или менее ценные подарки и между прочим три трости: две с совершенно одинаковыми набалдашниками из червонного золота для священников, то есть одну для отца

Туберозова, другую для отца Захарии, а третью с красивым набалдашником из серебра с чернью для дьякона Ахиллы. Трости эти пали между старгородским духовенством как библейские змеи, которых кинули пред фараона египетские кудесники.

– Сим подарением тростей на нас наведено сомнение, – рассказывал дьякон Ахилла.

– Да в чем же вы тут, отец дьякон, видите сомнение? – спрашивали его те, кому он жаловался.

– Ах, да ведь вот вы, светские, ничего в этом не понимаете, так и не утверждайте, что нет сомнения, – отвечал дьякон, – нет-с! тут большое сомнение!

И дьякон пускался разъяснять это специальное горе.

– Во-первых, – говорил он, – мне, как дьякону, по сану моему такого посоха носить не дозволено и неприлично, потому что я не пастырь, – это раз. Повторительно, я его теперь, этот посох, ношу, потому что он мне подарен, – это два. А в-третьих, во всем этом сомнительная одностойность: что отцу Савелью, что Захарии одно и то же, одинаковые посошки. Зачем же так сравнять их?.. Ах, помилуйте же вы, зачем?.. Отец Савелий… вы сами знаете… отец Савелий… он умница, философ, министр юстиции, а теперь, я вижу, и он ничего не может сообразить и смущен, и даже страшно смущен.

– Да чем же он тут может быть смущен, отец дьякон?

– А тем смущен, что, во-первых, от этой совершенной одностойности происходит смешанность. Как вы это располагаете, как отличить, чья эта трость? Извольте теперь их разбирать, которая отца протопопа, которая Захариина, когда они обе одинаковы? Но, положим, на этот бы счет для разборки можно какую-нибудь заметочку положить – или сургучом под головкой прикапнуть, или сделать ножом на дереве нарезочку; но что же вы поделаете с ними в рассуждении политики? Как теперь у одной из них против другой цену или достоинство ее отнять, когда они обе одностойны? Помилуйте вы меня, ведь это невозможно, чтоб и отец протопоп и отец Захария были одностойны. Это же не порядок-с! И отец протопоп это чувствует, и я это вижу-с и говорю: «Отец протопоп, больше

ничего в этом случае нельзя сделать, как, позвольте, я на отца Захариину трость сургучную метку положу или нарезку сделаю». А он говорит: «Не надо! Не смей, и не надо!» Как же не надо? «Ну, говорю, благословите: я потаенно от самого отца Захарии его трость супротив вашей ножом слегка на вершок урежу, так что отец Захария этого сокращения и знать не будет», но он опять: «Глуп, говорит, ты!..» Ну, глуп и глуп, не впервой мне это от него слышать, я от него этим не обижаюсь, потому он заслуживает, чтоб от него снесть, а я все-таки вижу, что он всем этим недоволен, и мне от этого пребеспокойно… И вот скажите же вы, что я трижды глуп, – восклицал дьякон, – да-с, позволяю вам, скажите, что я глуп, если он, отец Савелий, не сполитикует. Это уж я наверно знаю, что мне он на то не позволяет, а сам сполитикует.

И дьякон Ахилла, по-видимому, не ошибся. Не прошло и месяца со времени вручения старгородскому соборному духовенству упомянутых наводящих сомнение посохов, как отец протопоп Савелий вдруг стал собираться в губернский город. Не было надобности придавать какое-нибудь особенное значение этой поездке отца Туберозова, потому что протоиерей, в качестве благочинного, частенько езжал в консисторию. Никто и не толковал о том, зачем протопоп едет. Но вот отец Туберозов, уже усевшись в кибитку, вдруг обратился к провожавшему его отцу Захарии и сказал:

– А послушай-ка, отче, где твоя трость? Дай-ка ты мне ее, я ее свезу в город.

Одно это обращение с этим словом, сказанным как будто невзначай, вдруг как бы озарило умы всех провожавших со двора отъезжавшего отца Савелия.

Дьякон Ахилла первый сейчас же крякнул и шепнул на ухо отцу Бенефактову:

– А что-с! Я вам говорил: вот и политика!

– Для чего ж мою трость везти в город, отец протопоп? – вопросил смиренно моргающий своими глазами отец Захария, отстраняя дьякона.

– Для чего? А вот я там, может быть, покажу, как нас с тобой люди уважают и помнят, – отвечал Туберозов.

– Алеша, беги, принеси посошок, – послал домой сынишку отец Захария.

– Так вы, может быть, отец протопоп, и мою трость тоже свозите показать? – вопросил, сколь умел мягче, Ахилла.

– Нет, ты свою пред собою содержи, – отвечал Савелий.

– Что ж, отец протопоп, «пред собою»? И я же ведь точно так же… тоже ведь и я предводительского внимания удостоился, – отвечал, слегка обижаясь, дьякон; но отец протопоп не почтил его претензии никаким ответом и, положив рядом с собою поданную ему в это время трость отца Захарии, поехал.

Туберозов ехал, ехали с ним и обе наделавшие смущения трости, а дьякон Ахилла, оставаясь дома, томился разрешением себе загадки: зачем Туберозов отобрал трость у Захарии?

– Ну что тебе? Что тебе до этого? что тебе? – останавливал Захария мятущегося любопытством дьякона.

– Отец Захария, я вам говорю, что он сполитикует.

– Ну а если и сполитикует, а тебе что до этого? Ну и пусть его сполитикует.

– Да я нестерпимо любопытен предвидеть, в чем сие будет заключаться. Урезать он мне вашу трость не хотел позволить, сказал: глупость; метки я ему советовал положить, он тоже и это отвергнул. Одно, что я предвижу…

– Ну, ну… ну что ты, болтун, предвидеть можешь?

– Одно, что… он непременно драгоценный камень вставит.

– Да! ну… ну куда же, куда он драгоценный камень вставит?

– В рукоять.

– Да в свою или в мою?

– В свою, разумеется, в свою. Драгоценный камень, ведь это драгоценность.

– Да ну, а мою же трость он тогда зачем взял? В свою камень вставлять будет, а моя ему на что?

Дьякон ударил себя рукой по лбу и воскликнул:

– Одурачился!

– Надеюсь, надеюсь, что одурачился, – утверждал отец Захария, добавив с тихою укоризной: – а еще ведь ты, братец мой, логике обучался; стыдно!

– Что же за стыд, когда я ей обучался, да не мог понять! Это со всяким может случиться, – отвечал дьякон и, не высказывая уже более никаких догадок, продолжал тайно сгорать любопытством – что будет?

Прошла неделя, и отец протопоп возвратился. Ахилла-дьякон, объезжавший в это время вымененного им степного коня, первый заметил приближение к городу протоиерейской черной кибитки и летел по всем улицам, останавливаясь пред открытыми окнами знакомых домов, крича: «Едет! Савелий! едет наш поп велий!» Ахиллу вдруг осенило новое соображение.

– Теперь знаю, что такое! – говорил он окружающим, спешиваясь у протопоповских ворот. – Все эти размышления мои до сих пор предварительные были не больше как одною глупостью моею; а теперь я наверное вам скажу, что отец протопоп кроме ничего как просто велел вытравить литеры греческие, а не то так латинские. Так, так, не иначе как так; это верно, что литеры вытравил, и если я теперь не отгадал, то сто раз меня дураком после этого назовите.

– Погоди, погоди, и назовем, и назовем, – частил в ответ ему отец Захария, в виду остановившейся у ворот протопоповской кибитки.

Отец протопоп вылез из кибитки важный, солидный; вошел в дом, помолился, повидался с женой, поцеловал ее при этом три раза в уста, потом поздоровался с отцом Захарией, с которым они поцеловали друг друга в плечи, и, наконец, и с дьяконом Ахиллой, причем дьякон Ахилла поцеловал у отца протопопа руку, а отец протопоп приложил свои уста к его темени. После этого свидания началось чаепитие, разговоры, рассказы губернских новостей, и вечер уступил место ночи, а отец протопоп и не заикнулся об интересующих всех посохах. День, другой и третий прошел, а отец Туберозов и не заговаривает об этом деле,

словно свез он посохи в губернию да там их оба по реке спустил, чтоб и речи о них не было.

– Вы же хоть полюбопытствуйте! спросите! – беспрестанно зудил во все дни отцу Захарию нетерпеливый дьякон Ахилла.

– Что я буду его спрашивать? – отвечал отец Захария. – Нешто я ему не верю, что ли, что стану отчет требовать, куда дел?

– Да все-таки ради любознательности спросить должно.

– Ну и спроси, зуда, сам, если хочешь ради любознательности.

– Нет, вы, ей-богу, со страху его не спрашиваете.

– С какого это страху?

– Да просто боитесь; а я бы, ей-богу, спросил. Да и чего тут бояться-то? спросите просто: а как же, мол, отец протопоп, будет насчет наших тростей? Вот только всего и страху.

– Ну, так вот ты и спроси.

– Да мне нельзя.

– А почему нельзя?

– Он меня может оконфузить.

– А меня разве не может?

Дьякон просто сгорал от любопытства и не знал, что бы такое выдумать, чтобы завести разговор о тростях; но вот, к его радости, дело разрешилось, и само собою. На пятый или на шестой день по возвращении своем домой отец Савелий, отслужив позднюю обедню, позвал к себе на чай и городничего, и смотрителя училищ, и лекаря, и отца Захарию с дьяконом Ахиллой и начал опять

рассказывать, что он слышал и что видел в губернском городе. Прежде всего отец протопоп довольно пространно говорил о новых постройках, потом о губернаторе, которого осуждал за неуважение ко владыке и за постройку водопроводов, или, как отец протопоп выражался: «акведуков».

– Акведуки эти, – говорил отец протопоп, – будут ни к чему, потому город малый, и притом тремя реками пересекается; но магазины, которые всё вновь открываются, нечто весьма изящное начали представлять. Да вот я вам сейчас покажу, что касается нынешнего там искусства…

И с этими словами отец протопоп вышел в боковую комнату и через минуту возвратился оттуда, держа в каждой руке по известной всем трости.

– Вот видите, – сказал он, поднося к глазам гостей верхние площади золотых набалдашников.

Ахилла-дьякон так и воззрился, что такое сделано политиканом Савелием для различения одностойных тростей; но увы! ничего такого резкого для их различия не было заметно. Напротив, одностойность их даже как будто еще увеличилась, потому что посредине набалдашника той и другой трости было совершенно одинаково вырезано окруженное сиянием всевидящее око; а вокруг ока краткая, в виде узорчатой каймы, вязная надпись.

– А литер, отец протопоп, нет? – заметил, не утерпев. Ахилла.

– К чему здесь тебе литеры нужны? – отвечал, не глядя на него, Туберозов.

– А для отличения их одностойности?

– Все ты всегда со вздором лезешь, – заметил отец протопоп дьякону и при этом, приставив одну трость к своей груди, сказал: – вот это будет моя.

Ахилла-дьякон быстро глянул на набалдашник и прочел около всевидящего ока: «Жезл Ааронов расцвел».

– А вот это, отец Захария, будет тебе, – докончил протопоп, подавая другую трость Захарии.

На этой вокруг такого же точно всевидящего ока такою же точно древлеславянскою вязью было вырезано: «Даде в руку его посох».

Ахилла как только прочел эту вторую подпись, так пал за спину отца Захарии и, уткнув голову в живот лекаря, заколотился и задергался в припадках неукротимого смеха.

– Ну, что, зуда, что, что? – частил, обернувшись к нему, отец Захария, между тем как прочие гости еще рассматривали затейливую работу резчика на иерейских посохах. – Литеры? А? литеры, баран ты этакой кучерявый? Где же здесь литеры?

Но дьякон не только нимало не сконфузился, но опять порскнул и закатился со смеху.

– Чего смеешься? чего помираешь?

– Это кто ж баран-то выходит теперь? – вопросил, едва выговаривая слова, дьякон.

– Да ты же, ты. Кто же еще баран?

Ахилла опять залился, замотал руками и, изловив отца Захарию за плечи, почти сел на него медведем и театральным шепотом забубнил:

– А вы, отец Захария, как вы много логике учились, так вы вот это прочитайте: «Даде в руку его посох». Нуте-ка, решите по логике: чему такая надпись соответствует!

– Чему? Ну говори, чему?

– Чему-с? А она тому соответствует, – заговорил протяжнее дьякон, – что дали мол, дескать, ему линейкой палю в руку.

– Врешь.

– Вру! А отчего же вон у него «жезл расцвел»? А небось ничего про то, что в руку дано, не обозначено? Почему? Потому что это сделано для превозвышения, а вам это для унижения черкнуто, что, мол, дана палка в лапу.

Отец Захария хотел возразить, но и вправду слегка смутился. Дьякон торжествовал, наведя это смущение на тихого отца Бенефактова; но торжество Ахиллы было непродолжительно.

Не успел он оглянуться, как увидел, что отец протопоп пристально смотрел на него в оба глаза и чуть только заметил, что дьякон уже достаточно сконфузился, как обратился к гостям и самым спокойным голосом начал:

– Надписи эти, которые вы видите, я не сам выдумал, а это мне консисторский секретарь Афанасий Иванович присоветовал. Случилось нам, гуляя с ним пред вечером, зайти вместе к золотарю; он, Афанасий Иванович, и говорит: вот, говорит, отец протопоп, какая мне пришла мысль, надписи вам на тростях подобают, вот вам этакую: «Жезл Ааронов», а отцу Захарии вот этакую очень пристойно, какая теперь значится. А тебе, отец дьякон… я и о твоей трости, как ты меня просил, думал сказать, но нашел, что лучше всего, чтобы ты с нею вовсе ходить не смел, потому что это твоему сану не принадлежит…

При этом отец протопоп спокойно подошел к углу, где стояла знаменитая трость Ахиллы, взял ее и запер ключом в свой гардеробный шкаф.

Такова была величайшая из распрей на старогородской поповке.

– Отсюда, – говорил дьякон, – было все начало болезням моим. Потому что я тогда не стерпел и озлобился, а отец протопоп Савелий начал своею политикой еще более уничтожать меня и довел даже до ярости. Я свирепел, а он меня, как медведя на рогатину, сажал на эту политику, пока я даже осатаневать стал.

Это был образчик мелочности, обнаруженной на старости лет протопопом Савелием, и легкомысленности дьякона, навлекшего на себя гнев Туберозова; но как Москва, говорят, от копеечной свечи сгорела, так и на старогородской поповке вслед за этим началась целая история, выдвинувшая наружу разные недостатки и превосходства характеров Савелия и Ахиллы.

Дьякон лучше всех знал эту историю, но рассказывал ее лишь в минуты крайнего своего волнения, в часы расстройства, раскаянии и беспокойств, и потому когда говорил о ней, то говорил нередко со слезами на глазах, с судорогами в голосе и даже нередко с рыданиями.

Глава третья

– Мне, – говорил сквозь слезы взволнованный Ахилла, – мне по-настоящему, разумеется, чт? бы тогда следовало сделать? Мне следовало пасть к ногам отца протопопа и сказать, что так и так, что я это, отец протопоп, не по злобе, не по ехидству сказал, а единственно лишь чтобы только доказать отцу Захарии, что я хоть и без логики, но ничем его не глупей. Но гордыня меня обуяла и удержала. Досадно мне стало, что он мою трость в шкаф запер, а потом после того учитель Варнавка Препотенский еще подоспел и подгадил… Ах, я вам говорю, что уже сколько я на самого себя зол, но на учителя Варнавку вдвое! Ну, да и не я же буду, если я умру без того, что я этого просвирниного сына учителя Варнавку не взвошу!

– Опять и этого ты не смеешь, – останавливал Ахиллу отец Захария.

– Отчего же это не смею? За безбожие-то да не смею? Ну, уж это извините-с!

– Не смеешь, хоть и за безбожие, а все-таки драться не смеешь, потому что Варнава был просвирнин сын, а теперь он чиновник, он учитель.

– Так чт?, что учитель? Да я за безбожие кого вам угодно возделаю. Это-с, батюшка, закон, а не что-нибудь. Да-с, это очень просто кончается: замотал покрепче руку ему в аксиосы, потряс хорошенько, да и выпустил, и ступай, мол, жалуйся, что бит духовным лицом за безбожие… Никуда не пойдет-с! Но боже мой, боже мой! как я только вспомню да подумаю – и что это тогда со мною поделалось, что я его, этакого негодивца Варнавку, слушал и что даже до сего дня я еще с ним как должно не расправился! Ей, право, не знаю, откуда такая слабость у меня? Ведь вон тогда Сергея-дьячка за рассуждение о громе я сейчас же прибил; комиссара Данилку мещанина за едение яиц на улице в прошедший Великий пост я опять тоже неупустительно и всенародно весьма прилично по ухам оттрепал, а вот этому просвирнину сыну все до сих пор спускаю, тогда как

я этим Варнавкой более всех и уязвлен! Не будь его, сей распри бы не разыграться. Отец протопоп гневались бы на меня за разговор с отцом Захарией, но все бы это не было долговременно; а этот просвирнин сын Варнавка, как вы его нынче сами видеть можете, учитель математики в уездном училище, мне тогда, озлобленному и уязвленному, как подтолдыкнул: «Да это, говорит, надпись туберозовская еще, кроме того, и глупа». Я, знаете, будучи уязвлен, страх как жаждал, чем бы и самому отца Савелия уязвить, и спрашиваю: чем же глупа? А Варнавка говорит: «Тем и глупа, что еще самый факт-то, о котором она гласит, недостоверен; да и не только недостоверен, а и невероятен. Кто это, говорит, засвидетельствовал, что жезл Ааронов расцвел? Сухое дерево разве может расцвесть?» Я было его на этом даже остановил и говорю: «Пожалуйста, ты этого, Варнава Васильич, не говори, потому что бог иде же хощет, побеждается естества чин»; но при этом, как вся эта наша рацея у акцизничихи у Бизюкиной происходила, а там всё это разные возлияния да вино все хорошее: все го-го, го-сотерн да го-марго, я… прах меня возьми, и надрызгался. Я, изволите понимать, в винном угаре, а Варнавка мне, знаете, тут мне по-своему, по-ученому торочит, что «тогда ведь, говорит, вон и мани факел фарес было на пиру Вальтасаровом написано, а теперь, говорит, ведь это вздор; я вам могу это самое сейчас фосфорною спичкой написать». Ужасаюсь я; а он все дальше да больше: «Да там и во всем, говорит, бездна противоречий…» И пошел, знаете, и пошел, и все опровергает; а я все это сижу да слушаю. А тут опять еще эти го-марго, да уж и достаточно даже сделался уязвлен и сам заговорил в вольнодумном штиле. «Я, говорю, я, если бы только не видел отца Савелиевой прямоты, потому как знаю, что он прямо алтарю предстоит и жертва его прямо идет, как жертва Авелева, то я только Каином быть не хочу, а то бы я его…» Это, понимаете, на отца Савелия-то! И к чему-с это; к чему это я там в ту пору о нем заговорил? Ведь не глупец ли? Ну, а она, эта Данка Нефалимка, Бизюкина-то, говорит: «Да вы еще понимаете ли, что вы лепечете? Вы еще знаете ли цену Каину-то? что такое, говорит, ваш Авель? Он больше ничего как маленький барашек, он низкопоклонный искатель, у него рабская натура, а Каин гордый деятель – он не помирится с жизнию подневольною. Вот, говорит, как его английский писатель Бирон изображает…» Да и пошла-с мне расписывать! Ну, а тут все эти го-ма-го меня тоже наспиртуозили, и вот вдруг чувствую, что хочу я быть Каином, да и шабаш. Вышел я оттуда домой, дошел до отца протопопова дома, стал пред его окнами и вдруг подперся по-офицерски в боки руками и закричал: «Я царь, я раб, я червь, я бог!» Боже, боже: как страшно вспомнить, сколь я был бесстыж и сколь же я был за то в ту ж пору постыжен и уязвлен! Отец протопоп, услыхав мое козлогласие, вскочили с постели, подошли в сорочке к окну и, распахнув раму, гневным голосом крикнули: «Ступай спать, Каин неистовый!» Верите ли: я даже затрепетал весь от этого слова, что я

«Каин», потому, представьте себе, что я только собирался в Каины, а он уже это провидел. Ах, боже! Я отошел к дому своему, сам следов своих не разумеючи, и вся моя стропотность тут же пропала, и с тех пор и доныне я только скорблю и стенаю.

Повторив этот рассказ, дьякон обыкновенно задумывался, поникал головой и через минуту, вздохнув, продолжал мягким и грустным тоном:

– Но вот-с дние бегут и текут, а гнев отца протопопа не проходит и до сего дня. Я приходил и винился; во всем винился и каялся, говорил: «Простите, как бог грешников прощает», но на все один ответ: «Иди». Куда? я спрашиваю, кудб я пойду? Почтмейстерша Тимониха мне все советует: «В полк, говорит, отец дьякон, идите, вас полковые любить будут». Знаю я это, что полковые очень могут меня любить, потому что я и сам почти воин; но что из меня в полку воспоследует, вы это обсудите? Ведь я там с ними в полку уж и действительно Каином сделаюсь… Ведь это, ведь я знаю, что все-таки один он, один отец Савелий еще меня и содержит в субординации, – а он… а он…

При этих словах у дьякона закипали в груди слезы, и он, всхлипывая, заканчивал:

– А он вот какую низкую штуку со мною придумал: чтобы молчать! Что я ни заговорю, он все молчит… За что же ты молчишь? – восклицал дьякон, вдруг совсем начиная плакать и обращаясь с поднятыми руками в ту сторону, где полагал быть дому отца протопопа. – Хорошо, ты думаешь, это так делать а? Хорошо это, что я по дьяконству моему подхожу и говорю: «благослови, отче?» и, руку его целуя, чувствую, что даже рука его холодна для меня! Это хорошо? На Троицын день пред великою молитвой я, слезами обливаясь, прошу: «благослови…» А у него и тут умиления нет. «Буди благословен», говорит. Да что мне эта форменность, когда все это без ласковости!

Дьякон ожидал утешения и поддержки.

– Заслужи, – замечает ему отец Захария, – заслужи хорошенько, он тогда и с лаской простит.

– Да чем же я, отец Захария, заслужу?

– Примерным поведением заслужи.

– Да каким же примерным поведением, когда он совсем меня не замечает? Мне, ты, батя, думаешь, легко, как я вижу, что он скорбит, вижу, что он нынче в столь частой задумчивости. «Боже мой! – говорю я себе, – чего он в таком изумлении? Может быть, это он и обо мне…» Потому что ведь там, как он на меня ни сердись, а ведь он все это притворствует: он меня любит…

Дьякон оборачивался в другую сторону и, стуча кулаком по ладони, выговаривал:

– Ну, просвирнин сын, тебе это так не пройдет! Будь я взаправду тогда Каин, а не дьякон, если только я этого учителя Варнавку публично не исковеркаю!

Из одной этой угрозы читатели могут видеть, что некоему упоминаемому здесь учителю Варнаве Препотенскому со стороны Ахиллы-дьякона угрожала какая-то самая решительная опасность, и опасность эта становилась тем грознее и ближе, чем чаще и тягостнее Ахилла начинал чувствовать томление по своем потерянном рае, по утраченном благорасположении отца Савелия. И вот, наконец, ударил час, с которого должны были начаться кара Варнавы Препотенского рукой Ахиллы и совершенно совпадавшее с сим событием начало великой старогородской драмы, составляющей предмет нашей хроники.

Чтобы ввести читателя в уразумение этой драмы, мы оставим пока в стороне все тропы и дороги, по которым Ахилла, как американский следопыт, будет выслеживать своего врага, учителя Варнавку, и погрузимся в глубины внутреннего мира самого драматического лица нашей повести – уйдем в мир неведомый и незримый для всех, кто посмотрит на это лицо и близко и издали. Проникнем в чистенький домик отца Туберозова. Может быть, стоя внутри этого дома, найдем средство заглянуть внутрь души его хозяина, как смотрят в стеклянный улей, где пчела строит свой дивный сот, с воском на освещение лица божия, с медом на усладу человека. Но будем осторожны и деликатны: наденем легкие сандалии, чтобы шаги ног наших не встревожили задумчивого и грустного протопопа; положим сказочную шапку-невидимку себе на голову, дабы любопытный зрак наш не смещал серьезного взгляда чинного старца, и станем иметь уши наши отверзтыми ко всему, что от него услышим.

Глава четвертая

Над Старгородом летний вечер. Солнце давно село. Нагорная сторона, где возвышается острый купол собора, озаряется бледными блесками луны, а тихое Заречье утонуло в теплой мгле. По пловучему мосту, соединяющему обе стороны города, изредка проходят одинокие фигуры. Они идут спешно: ночь в тихом городке рано собирает всех в гнезда свои и на пепелища свои. Прокатила почтовая телега, звеня колокольчиком и перебирая, как клавиши, мостовины, и опять все замерло. Из далеких лесов доносится благотворная свежесть. На острове, который образуют рукава Турицы и на котором синеет бакша кривоносого чудака, престарелого недоучки духовного звания, некоего Константина Пизонского, называемого от всех «дядей Котином», раздаются клики:

– Молвоша! где ты, Молвоша!

Это старик зовет резвого мальчишку, своего приемыша, и клики эти так слышны в доме протопопа, как будто они раздаются над самым ухом сидящей у окна протопопицы. Вот оттуда же, с той же бакши, несется детский хохот, слышится плеск воды, потом топот босых ребячьих ног по мостовинам, звонкий лай игривой собаки, и все это кажется так близко, что мать протопопица, продолжавшая все это время сидеть у окна, вскочила и выставила вперед руки. Ей показалось, что бегущее и хохочущее дитя сейчас же упадет к ней на колени. Но, оглянувшись вокруг, протопопица заметила, что это обман, и, отойдя от окна в глубину комнаты, зажгла на комоде свечу и кликнула небольшую, лет двенадцати, девочку и спросила ее:

– Ты, Фёклинька, не знаешь ли, где наш отец протопоп?

– Он, матушка, у исправника в шашки играет.

– А, у исправника. Ну бог с ним, когда у исправника. Давай мы ему, Фёклушка, постель постелем, пока он воротится.

Фёклинька принесла из соседней комнаты в залу две подушки, простыню и стеганое желтое шерстяное одеяло; а мать протопопица внесла белый пикейный шлафрок и большой пунцовый фуляр. Постель была постлана отцу протопопу на

большом, довольно твердом диване из карельской березы. Изголовье было открыто; белый шлафрок раскинут по креслу, которое поставлено в ногах постели; на шлафрок положен пунцовый фуляр. Когда эта часть была устроена, мать-протопопица вдвоем с Фёклинькой придвинули к головам постели отца Савелия тяжелый, из карельской же березы, овальный стол на массивной тумбе, поставили на этот стол свечу, стакан воды, блюдце с толченым сахаром и колокольчик. Все эти приготовления и тщательность, с которою они исполнялись, свидетельствовали о великом внимании протопопицы ко всем привычкам мужа. Только устроив все как следовало, по обычаю, она успокоилась, и снова погасила свечу, и села одиноко к окошечку ожидать протопопа. Глядя на нее, можно было видеть, что она ожидает его неспокойно; этому и была причина: давно невеселый Туберозов нынче особенно хандрил целый день, и это тревожило его добрую подругу. К тому же он и устал: он ездил нынче на поля пригородных слобожан и служил там молебен по случаю стоящей засухи. После обеда он немножко вздремнул и пошел пройтись, но, как оказалось, зашел к исправнику, и теперь его еще нет. Ждет его маленькая протопопица еще полчаса и еще час, а его все нет. Тишина ненарушимая. Но вот с нагорья послышалось чье-то довольно приятное пение. Мать протопопица прислушивается. Это поет дьякон Ахилла; она хорошо узнает его голос. Он сходит с Батавиной горы и распевает:

Ночною темнотою

Покрылись небеса;

Все люди для покоя

Сомкнули очеса.

Дьякон спустился с горы и, идучи по мосту, продолжает:

Внезапно постучался

Мне в двери Купидон;

Приятный перервался

В начале самом сон.

Протопопица слушает с удовольствием пение Ахиллы, потому что она любит и его самого за то, что он любит ее мужа, и любит его пение. Она замечталась и не

слышит, как дьякон взошел на берег, и все приближается и приближается, и, наконец, под самым ее окошечком вдруг хватил с декламацией:

Кто там стучится смело?

Сквозь двери я спросил.

Мечтавшая протопопица тихо вскрикнула: «Ах!» и отскочила в глубь покоя.

Дьякон, услыхав это восклицание, перестал петь и остановился.

– А вы, Наталья Николаевна, еще не започивали? – отнесся он к протопопице и с этими словами, схватясь руками за подоконник, вспрыгнул на карнизец и воскликнул: – А у нас мир!

– Что? – переспросила протопопица.

– Мир, – повторил дьякон, – мир.

Ахилла повел по воздуху рукой и добавил:

– Отец протопоп… конец…

– Что ты говоришь, какой конец? – запытала вдруг встревоженная этим словом протопопица.

– Конец… со мною всему конец… Отныне мир и благоволение. Ныне которое число? Ныне четвертое июня: вы так и запишите: «Четвертого июня мир и благоволение», потому что мир всем и Варнавке учителю шабаш.

– Ты это что-то… вином от тебя не пахнет, а врешь.

– Вру! А вот вы скоро увидите, как я вру. Сегодня четвертое июня, сегодня преподобного Мефодия Песношского, вот вы это себе так и запишите, что от этого дня у нас распочнется.

Дьякон еще приподнялся на локти и, втиснувшись в комнату по самый по пояс, зашептал:

– Вы ведь небось не знаете, чт? учитель Варнавка сделал?

– Нет, дружок, не слыхала, что такое еще он, негодивец, сотворил.

– Ужасная вещь-с! он человека в горшке сварил.

– Дьякон, ты это врешь! – воскликнула протопопица.

– Нет-с, сварил!

– Истинно врешь! – человека в горшок не всунешь.

– Он его в золяной корчаге сварил, – продолжал, не обращая на нее внимания, дьякон, – и хотя ему это мерзкое дело было дозволено от исправника и от лекаря, но тем не менее он теперь за это предается в мои руки.

– Дьякон, ты врешь; ты все это врешь.

– Нет-с, извините меня, даже ни одной минуты я не вру, – зачастил дьякон и, замотав головой, начал вырубать слово от слова чаще. – Извольте хорошенько слушать, в чем дело и какое его было течение: Варнавка действительно сварил человека с разрешения начальства, то есть лекаря и исправника, так как то был утопленник; но этот сваренец теперь его жестоко мучит и его мать, госпожу просвирню, и я все это разузнал и сказал у исправника отцу протопопу, и отец протопоп исправнику за это… того-с, по-французски, пробире-муа, задали, и исправник сказал: что я, говорит, возьму солдат и положу этому конец; но я сказал, что пока еще ты возьмешь солдат, а я сам солдат, и с завтрашнего дня, ваше преподобие, честная протопопица Наталья Николаевна, вы будете видеть, как дьякон Ахилла начнет казнить учителя Варнавку, который богохульствует, смущает людей живых и мучит мертвых. Да-с, сегодня четвертое июня, память преподобного Мефодия Песношского, и вы это запишите…

Но на этих словах поток красноречия Ахиллы оборвался, потому что в это время как будто послышался издалека с горы кашель отца протопопа.

– Во! грядет поп Савелий! – воскликнул, заслышав этот голос, Ахилла и, соскочив с фундамента на землю, пошел своею дорогой. Протопопица осталась у своего окна не только во мраке неведения насчет всего того, чем дьякон грозился учителю Препотенскому, но даже в совершенном хаосе насчет всего, что он наговорил здесь. Ей некогда было и раздумывать о нескладных речах Ахиллы, потому она услыхала, как скрипнули крылечные ступени, и отец Савелий вступил в сени, в камилавке на голове и в руках с тою самою тростью, на которой было написано: «Жезл Ааронов расцвел».

Протопопица встала, разом засветила две свечи и из-под обеих зорко посмотрела на вошедшего мужа. Протопоп тихо поцеловал жену в лоб, тихо снял рясу, надел свой белый шлафор, подвязал шею пунцовым фуляром и сел у окошка.

Протопопица совершенно забыла про все, что ей за несколько минут пред этим наговорил дьякон, и потому ни о чем не спросила мужа. Она пригласила его в смежную маленькую продолговатою комнатку, которая служила ей спальней и где теперь была приготовлена для отца Савелия его вечерняя закуска. Отец Савелий сел к столику, съел два сваренные для него всмятку яйца и, помолясь, начал прощаться на ночь с женой. Протопопица сама никогда не ужинала. Она обыкновенно только сидела перед мужем, пока он закусывал, и оказывала ему небольшие услуги, то что-нибудь подавая, то принимая и убирая. Потом они оба вставали, молились пред образом и непосредственно за тем оба начинали крестить один другого. Это взаимное благословение друг друга на сон грядущий они производили всегда оба одновременно, и притом с такою ловкостью и быстротой, что нельзя было надивиться, как их быстро мелькавшие одна мимо другой руки не хлопнут одна по другой и одна за другую не зацепятся.

Получив взаимные благословения, супруги напутствовали друг друга и взаимным поцелуем, причем отец протопоп целовал свою низенькую жену в лоб, а она его в сердце; затем они расставались: протопоп уходил в свою гостиную и вскоре ложился. Точно так же пришел он в свою комнату и сегодня, но не лег в постель, а долго ходил по комнате, наконец притворил и тихо запер на крючок дверь в женину спальню.

– Отец Савелий, ты чего-то не в светлом духе? – спросила через стенку протопопица, хорошо изучившая все мельчайшие черты мужнина характера.

– Нет, друг, я спокоен, – отвечал протопоп.

– Тебе, отец Савелий, не подать ли на ночь чистый платочек? – осведомилась она, вскочив и приложив нос к створу двери.

– Платочек? да ведь ты в субботу дала мне платочек!

– Ну так что ж что в субботу?.. Да отопритесь вы в самом деле, отец Савелии! Что это вы еще за моду такую взяли, чтоб от меня запираться?

Протопоп молча откинул крючок, а Наталья Николаевна принесла чистый фуляровый платок и, пользуясь этим случаем, они с мужем снова начали прощаться и крестить друг друга тем же удивительным для непривычного человека способом и затем опять расстались. Дверь теперь оставалась отворенною: объяснилось, зачем старик непременно хотел ее припереть. Отцу протопопу не спалось, и он чувствовал, что ему не удастся уснуть: прошел час, а он еще все ходил по комнате в своем белом пикейном шлафоре и пунцовом фуляре под шеей. В старике как бы совершалась некая борьба. При всем внешнем достоинстве его манер и движений он ходил шагами неровными, то несколько учащая их, как бы хотел куда-то броситься, то замедляя их и, наконец, вовсе останавливаясь и задумываясь. Это хождение продолжалось еще с добрый час, прежде чем отец Савелий подошел к небольшому красному шкафику, утвержденному на высоком комоде с вытянутою доской. Из этого шкафа он достал Евгениевский «Календарь», переплетенный в толстый синий демикотон, с желтым юхтовым корешком, положил эту книгу на стоявшем у его постели овальном столе, зажег пред собою две экономические свечи и остановился: ему показалось, что жена его еще ворочается и не спит. Это так и было.

– Будешь читать, верно? – спросила его в эту минуту из-за стены своим тихим заботливым голоском Наталья Николаевна.

– Да, я, друг Наташа, немножко почитаю, – отвечал отец Туберозов, – а ты, одолжи меня, усни, пожалуй.

– Усну, мой друг, усну, – отвечала протопопица.

– Да, прошу тебя, пожалуй усни, – и с этими словами отец протопоп, оседлав свой гордый римский нос большими серебряными очками, начал медленно

перелистывать свою синюю книгу. Он не читал, а только перелистывал эту книгу и при том останавливался не на том, что в ней было напечатано, а лишь просматривал его собственной рукой исписанные прокладные страницы. Все эти записки были сделаны разновременно и воскрешали пред старым протопопом целый мир воспоминаний, к которым он любил по временам обращаться.

Очутясь между протопопом Савелием и его прошлым, станем тихо и почтительно слушать тихий шепот его старческих уст, раздающийся в глухой тиши полуночи.

Глава пятая

Демикотоновая книга протопопа Туберозова

Туберозов просматривал свой календарь с самой первой прокладной страницы, на которой было написано:

«По рукоположении меня 4-го февраля 1831 года преосвященным Гавриилом в иерея получил я от него сию книгу в подарок за мое доброе прохождение семинарских наук и за поведение». За первою надписью, совершенною в первый день иерейства Туберозова, была вторая: «Проповедовал впервые в соборе после архиерейского служения. Темой проповеди избрал текст притчи о сыновьях вертоградаря. Один сказал: „не пойду“, и пошел, а другой отвечал: „пойду“, и не пошел. Свел сие ко благим действиям и благим намерениям, позволяя себе некоторые намеки на служащих, присягающих и о присяге своей небрегущих, давая сим тонкие намеки чиноначалиям и властям. Говорил плавно и менее пышно, чем естественно. Владыка одобрили сию мою пробу пера. Однако же впоследствии его преосвященство призывал меня к себе и, одобряя мое слово вообще, в частности же указал, дабы в проповедях прямого отношения к жизни делать опасался, особливо же насчет чиновников, ибо от них-де чем дальше, тем и освященнее. Но за прошлое сказание не укорял и даже как бы одобрил.

1832 года, декабря 18-го, был призван высокопреосвященным и получил назначение в Старгород, где нарочито силен раскол. Указано противодействовать оному всячески.

1833 года, в восьмой день февраля, выехал с попадьей из села Благодухова в Старгород и прибыл сюда 12-го числа о заутрене. На дороге чуть нас не съела волчья свадьба. В церкви застал нестроение. Раскол силен. Осмотревшись, нахожу, что противодействие расколу по консисторской инструкции дело не важное, и о сем писал в консисторию и получил за то выговор».

Протоиерей пропустил несколько заметок и остановился опять на следующей: «Получив замечание о бездеятельности, усматриваемой в недоставлении мною обильных доносов, оправдывался, что в расколе делается только то, что уже давно всем известно, про что и писать нечего, и при сем добавил в сем рапорте, что наиглавнее всего, что церковное духовенство находится в крайней бедности, и того для, по человеческой слабости, не противодейственно подкупам и даже само немало потворствует расколу, как и другие прочие сберегатели православия, приемля даяния раскольников. Заключил, что не с иного чего надо бы начать, к исправлению скорбей церкви, как с изъятия самого духовенства из-под тяжкой зависимости. Образцом сему показал раскольничьи сравнения синода с патриаршеством и сим надеялся и деятельность свою оправдать и очередной от себя донос отбыть, но за опыт сей вторично получил выговор и замечание и вызван к личному объяснению, при коем был назван „непочтительным Хамом, открывающим наготу отца“. Сие, надлежит подразумевать, удостоен был получить за то, что сознал, как бедное, полуголодное духовенство само за неволю нередко расколу потворствует, и наипаче за то, что про синод упомянул… Простите, пожалуйте, кто обижен! В забвение вами мне сея великия вины вспомяну вам слова светского, но светлого писателя господина Татищева: „А голодный, хотя бы и патриарх был, кусок хлеба возьмет, особливо предложенный“. Вот и патриарху на орехи!»

Ниже, через несколько записей, значилось: «Был по делам в губернии и, представляясь владыке, лично ему докладывал о бедности причтов. Владыка очень о сем соболезновали; но заметили, что и сам Господь наш не имел где главы восклонить, а к сему учить не уставал. Советовал мне, дабы рекомендовать духовным читать книгу „О подражании Христу“. На сие ничего его преосвященству не возражал, да и вотще было бы возражать, потому как и книги той духовному нищенству нашему достать негде.

Политично за вечерним столом у отца соборного ключаря еще раз заводил речь о сем же предмете с отцом благочинным и с секретарем консистории; однако сии речи мои обращены в шутку. Секретарь с усмешкой сказал, что „бедному удобнее в царствие Божие внити“, чт? мы и без его благородия знали, а отец

ключарь при сем рассказали небезынтересный анекдот об одном академическом студенте, который впоследствии был знаменитым святителем и проповедником. Сей будто бы еще в мирском звании на вопрос владыки, имеет ли он какое состояние, ответствовал:

– Имею, ваше преосвященство.

– А движимое или недвижимое? – вопросил сей, на что оный ответствовал:

– И движимое и недвижимое.

– Что же такое у тебя есть движимое? – вновь вопросил его владыка, видя заметную мизерность его костюма.

– А движимое у меня дом в селе, – ответствовал вопрошаемый.

– Как так, дом движимое? Рассуди, сколь глуп ответ твой.

А тот, нимало сим не смущаясь, провещал, что ответ его правилен, ибо дом его такого свойства, что коль скоро на него ветер подует, то он весь и движется.

Владыке ответ сей показался столь своеобразным, что он этого студиозуса за дурня уже не хотел почитать, а напротив, интересуяся им, еще вопросил:

– Что же ты своею недвижимостью нарицаешь?

– А недвижимость моя, – отвечал студент, – матушка моя дьячиха да наша коровка бурая, кои обе ног не двигали, когда отбывал из дому, одна от старости, другая же от бескормицы.

Немало сему все мы смеялись, хотя я, впрочем, находил в сем более печального и трагического, нежели комедийной веселости, способной тешить. Начинаю замечать во всех значительную смешливость и легкомыслие, в коих доброго не предусматриваю.

Житие мое провожу в сне и в ядении. Расколу не могу оказывать противодействий ни малым чем, ибо всеми связан, и причтом своим

полуголодным и исправником дуже сытым. Негодую, зачем я как бы в посмешище с миссионерскою целию послан: проповедовать – да некому; учить – да не слушают! Проповедует исправник меня гораздо лучше, ибо у него к сему есть такая миссионерская снасть о нескольких концах, а от меня доносов требуют. Владыко мой! к чему сии доносы? Что в них завертывать? А мне, по моему рассуждению, и сан мой не позволяет писать их. Я лучше чистой бумаги пожертвую…

Представлял рапортом о дозволении иметь на Пасхе словопрение с раскольниками, в чем и отказано. Вдобавок к форменной бумаге секретарь, смеючись, отписал приватно, что если скука одолевает, то чтобы к ним проехался. Нет уж, покорнейше спасибо, а не прогневайтесь на здоровье. И без того мой хитон обличает мя, яко несть брачен, да и жена в одной исподнице гуляет. Следовало бы как ни на есть поизряднее примундириться, потому что люди у нас руки целуют, а примундироваться еще пока ровно не на что; но всего что противнее, это сей презренный, наглый и бесстыжий тон консисторский, с которым говорится: „А не хочешь ли, поп, в консисторию съездить подоиться?“ Нет, друже, не хочу, не хочу; поищите себе кормилицу подебелее.

13-гооктября 1835 года. Читал книгу об обличении раскола. Все в ней есть, да одного нет, что раскольники блюдут свое заблуждение, а мы своим правым путем небрежем; а сие, мню, яко важнейшее.

Сегодня утром. 18-гомарта сего 1836 года, попадья, Наталья Николаевна намекнула мне, что она чувствует себя непорожнею. Подай Господи нам сию радость! Ожидать в начале ноября.

9-го мая на день св. Николая Угодника, происходило разрушение Деевской староверческой часовни. Зрелище было страшное, непристойное и поистине возмутительное; а к сему же еще, как назло, железный крест с купольного фонаря сорвался и повис на цепях, а будучи остервененно понуждаем баграми разорителей к падению, упал внезапно и проломил пожарному солдату из жидов голову, отчего тот здесь же и помер. Ох, как мне было тяжко все это видеть: Господи! да, право, хотя бы жидов-то не посылали, что ли, кресты рвать! Вечером над разоренною молельной собирался народ, и их, и наш церковный, и все вместе много и горестно плакали и, на конец того, начали даже искать объятий и унии.

10-гомая. Были большие со стороны начальства ошибки. Пред полунощью прошел слух, что народ вынес на камень лампаду и начал молиться над разбитою молельной. Все мы собрались и видим, точно, идет моление, и лампада горит в руках у старца и не потухает. Городничий велел тихо подвести пожарные трубы и из них народ окачивать. Было сие весьма необдуманно и, скажу, даже глупо, ибо народ зажег свечи и пошел по домам, воспевая „мучителя фараона“ и крича: „Господь поборает вере мучимой; и ветер свещей не гасит“; другие кивали на меня и вопили: „Подай нам нашу Пречистую покровенную Богородицу и поклоняйся своей простоволосой в немецком платье“. Я только указал городничему, сколь неосторожно было сие его распоряжение о разорении, и срывании крестов, и отобрании иконы, но ему что? Ему лишь бы у немца выслужиться.

12-гомая. Франтовство одолело! взял в долг у предводительской экономки два шелковые платья предводительшины и послал их в город окрасить в масака цвет, как у губернского протодиакона, и сошью себе ряску шелковую. Невозможно без этой аккуратности, потому что становлюсь повсюду вхож в дворянские дома, а унижать себя не намерен.

17-го мая. Попадья Наталья Николаевна намекнула что она в рассуждении своего положения ошиблась.

20-го июня. По донесению городничего, за нехождение со крестом о Пасхе в дома раскольников, был снова вызван в губернию. Изложил сие дело владыке обстоятельно что не ходил я к староверам не по нерадению, ибо то даже было в карманный себе ущерб; но я сделал сие для того дабы раскольники чувствовали, что чести моего с причтом посещения лишаются. Владыко задумались и потом объяснение мое приняли; но не мимо идет речь, что царь жалует, да его псарь не жалует. Так как дело сие о моей манкировке некоторою своей стороной касалось и гражданской власти, то, дабы положить конец сей пустой претензии и обонпол, владыка послали меня объяснить сие важное дело губернатору. Но и было же объяснение!.. Оле мне, грешному, что я только там вытерпел! Оле и вам, ближние мои, братия мои, искреннии и други, за срамоту мою и унижение, которые я перенес от сего куцего нечестивца! Губернатор, яко немец, соблюдая амбицию своего Лютера, русского попа к себе не допустил, отрядил меня для собеседования о сем к правителю. Сей же правитель, поляк, не по-владычнему дело сие рассмотреть изволил, а напустился на меня с криком и рыканием, говоря, что я потворствую расколу и сопротивляюсь воле моего государя. Оле же тебе, ляше прокаженный, и ты с твоею прожженною совестию меня

сопротивлением царю моему упрекаешь! Однако я сие снес и ушел молча, памятуя хохлацкую пословицу: „скачи, враже, як пан каже“. И вышло так, что все описанное случилось как бы для обновления моей шелковой рясы, которая, при сем скажу, сделана весьма исправно и едва только при солнце чуть оттеняет, что из разных материй.

23 марта. Сегодня, в Субботу Страстную, приходили причетники и дьякон. Прохор просит, дабы неотменно идти со крестом на Пасхе и по домам раскольников, ибо несоблюдение сего им в ущерб. Отдал им из своих денег сорок рублей, но не пошел на сей срам, дабы принимать деньги у мужичьих ворот как подаяние. Вот теперь уже рясу свою вижу уже за глупость, мог бы и без нее обойтись, и было бы что причту раздать пообильнее. Но думалось: „нельзя же комиссару и без штанов“.

24-го апреля 1837 года. Был осрамлен до слез и до рыданий. Опять был на меня донос, и опять предстоял пред оным губернаторским правителем за невхождение со крестом во дворы раскольников. Донос сделан самим моим причтом. Как перенести сию низость и неблагородство! Мыслитель и администратор! сложи в просвещенном уме своем, из чего жизнь попа русского сочетавается. Возвращаясь домой, целую дорогу сетовал на себя, что не пошел в академию. Оттоль поступил бы в монашество, как другие; был бы с летами архимандритом, архиереем; ездил бы в карете, сам бы командовал, а не мною бы помыкали. Суетой сею злобно себя тешил, упорно воображая себя архиереем, но, приехав домой, был нежно обласкан попадьей и возблагодарил Бога, тако устроившего, яко же есть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/nikolay-leskov/soboryane

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити